

**МАРИНА
ЦВЕТАЕВА**

СКАЗКА
МАТЕРИ

Марина Ивановна Цветаева
Сказка матери
Серия «Автобиографическая проза»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175888

Марина Цветаева. Проза: Эксмо-Пресс; Москва;

ISBN 5-04-008397-1, 5-04-008265-7

Аннотация

«Вся моя проза – автобиографическая», – писала Цветаева. И еще: «Поэт в прозе – царь, наконец снявший пурпур, соблаговоливший (или вынужденный) предстать среди нас – человеком». Написанное М.Цветаевой в прозе отмечено печатью лирического переживания большого поэта.

Марина Цветаева

Сказка матери

– Мама, кого ты больше любишь: меня или Мусю? Нет, не говори, что все равно, все равно не бывает, кого-нибудь всегда чу-уточку больше, другого не меньше, но этого чу-уточку больше! Даю тебе честное слово, что я не обижусь (с победоносным взглядом на меня), – если – Мусю.

Всё, кроме взгляда, было чистейшее лицемерие, ибо и она, и мать, и, главное, я отлично знали – кого, и она только ждала убийственного для меня *слова*, которого я, покраснев, с не меньшим напряжением ждала, хотя и знала, что не дождусь.

– Кого – больше? Зачем же непременно кого-нибудь больше? – с явным замешательством (и явно оттягивая) – мать. – Как же я могу больше любить тебя или Мусю, раз вы обе мои дочери. Ведь это было бы несправедливо...

– Да, – неуверенно и разочарованно Ася, проглотив уже мой победоносный взгляд. – А все-таки – кого? Ну, хоть чу-уточку, капельку, крошечку, точечку – больше?

– Жила-была мать, у нее были две дочки...

– Муся и я! – быстро перебила Ася. – Муся лучше играла на рояле и лучше ела, а зато Ася... Асе зато вырезали слепую кишку, и она чуть не умерла... и она, как мама, умела свертывать язык трубочкой, а Муся не умела, и вообще она

была (с трудом и с апломбом) ми-ни-а-тюрная...

– Да, – подтвердила мать, очевидно не слышавшая и сочинявшая свою сказку дальше, а может быть, думавшая совсем о другом, о сыновьях например, – две дочери, старшая и младшая.

– А зато старшая скоро состарилась, а младшая всегда была молодая, богатая и потом вышла замуж за генерала. Его Превосходительство, или за фотографа Фишера, – возбужденно продолжала Ася, – а старшая за богадела Осипа, у которого сухая рука, потому что он убил брата огурцом. Да, мама?

– Да, – подтвердила мать.

– А младшая потом *еще* вышла замуж за князя и за графа, и у нее было четыре лошади: Сахар, Огурчик и Мальчик – одна рыжая, другая белая, другая черная. А старшая – в это время – так состарилась, стала такая грязная и бедная, что Осип ее из богадельни выгнал: взял палку и выгнал. И она стала жить на помойке, и столько ела помойки, что обратилась в желтую собаку, и вот раз младшая едет в *ландо* и видит: такая бедная, гадкая, желтая собака ест на помойке пустую кость, и – она была очень, очень добра! – ее пожалела: “Садись, собачка, в экипаж!”, а та (с ненавистным на меня взглядом) – сразу влезла – и лошади поехали. Но вдруг графиня поглядела на собаку и нечаянно увидела, что у нее глаза не собачьи, а такие гадкие, зеленые, старые, особенно – и вдруг узнала, что это ее старшая, старая сестра, и разом

выкинула ее из экипажа – и та разбилась на четыре части вдребезги!

– Да, – снова подтвердила мать. – Отца у них не было, только мать.

– А отец умер – от диабета? Потому что слишком много ел сахару, да и вообще пирожных, разных тортов, кремов, пломбиров, шоколадов, ирисов и таких серебряных конфет со щипчиками, да, мама? Хотя Захарьин ему запретил, потому что это вас сведет в могилу!

– При чем Захарьин, – внезапно очнулась мать, – это было давно, когда еще никакого Захарьина не было, и вообще никаких докторов.

– А слепая кишка была? Ап-пен-ди-цит? Такая маленькая, маленькая кишка, совсем слепая и глухая, и в нее все сыплется: разные кости, и рыбы хребты, и вишневые кости тоже, и кости от компота, и всякие ногти... Мама, а я сама видела, как Муся объела карандаш! Да, да, у нее не было перочинного ножика, и она чинила зубами, а потом глотала, все чинила и глотала, и карандаш стал совсем маленький, так что она даже потом не могла рисовать и за это меня *страшно* ущипнула!

– Врешь! – от негодования и изумления прохрипела я. Я тебя ущипнула за то, что ты при мне объедала мой карандаш, с “Муся” чернилом.

– Ма-ама! – заныла Ася, но, по невыгодности дела, тут же меня рейс. – А когда человек сказал да, а во рту – нет, то

что же он сказал? Он ведь *два* сказал, да, мама? Он пополам сказал? Но если он в эту минуту умрет, то куда же он пойдет?

– Кто куда пойдет? – спросила мать.

– В ад или в рай? Человек. Наполовину враный. В рай?

– Гм... – задумалась мать. – У нас – не знаю. У католиков на это есть чистилище.

– Я знаю! – торжествуя Ася. – Чистильщик Дик, который маленькому Лорду подарил красный футляр с подковами и лошадиными головами.

– И вот, когда тот разбойник потребовал, чтобы она выбрала, она, обняв их обеих сразу, сказала...

– А я знаю! – я, молниеносно. – Разбойник, это враг этой дамы, этой дамы, у которой было две дочери. И это, конечно, он убил их отца. И потом, потому что он был очень злой, захотел еще убить одну из девочек, сначала двух...

– Ма-ама! Как Муся смеет рассказывать твою сказку?

– Сначала двух, но Бог ему запретил, тогда – одну...

– И я знаю *какую!* – Ася.

– Не знаешь, потому что он сам не знал, потому что ему было все равно какую, и он только хотел сделать неприятность той даме – потому что она за него не вышла замуж. Да, мама?

– Может быть, – сказала мать, прислушиваясь, – но я этого и сама не знала.

– Потому что он был в нее *влюблен!* – торжествовала я, и уже безудержно: – И ему лучше было ее видеть в могиле,

чем...

– Какие африканские страсти! – сказала мать. – Откуда это у тебя?

– Из Пушкина. Но я другому отдана, *но* буду век ему верна. (И после краткой проверки.) Нет, кажется, из “Цыган”.

– А по-моему, из “Курьера”, который я тебе запретила читать.

– Нет, мама, в “Курьере” – совсем другое. В “Курьере” были эльфы, то есть сильфы, и они кружились на поляне, а молодой человек, который ночевал в копне сена, потому что его проклял отец, вдруг влюбился в самую главную сильфиду, потому что она походила на молочную сестру, которая утонула.

– Мама, что такое молочная сестра? – спросила присмиревшая, подавленная моим превосходством Ася.

– Дочь кормилицы.

– А у меня есть молочная сестра?

Мать, на меня:

– Вот.

– Фу! – сказала Ася.

– А она, Ася, мама, не моя, правда, мама?

– Не твоя, – подтвердила мать. – Потому что Асю кормила я, а тебя – кормилица. Твоя молочная сестра – дочь твоей кормилицы. Только у твоей кормилицы – был сын. Она была цыганка и очень злая и страшно жадная, до того жадная, что, когда дедушка ей однажды вместо золотых серег пода-

рил позолоченные, она вырвала их из ушей и так втоптала в паркет, что потом ничего не могли найти.

– А у тех девочек, которых потом убили, сколько было кормилиц? – спросила Ася.

– Ни одной, – ответила мать, – их мать кормила сама, потому, может быть, так и любила и ни одной не могла выбрать и сказала тому разбойнику: “Выбрать я не могу и никогда не выберу. Убей нас всех сразу”. – “Нет, – сказал разбойник, – я хочу, чтобы ты долго мучилась, а обеих я не убью, чтобы ты вечно мучилась, что эту – *выбрала*, а ту... Ну, которую же?” – “Нет, – сказала мать. – Скорей *ты* умрешь, здесь передо мной стоя, от старости или от ненависти, чем я – сама осужу одну из моих

дочерей на смерть”.

– А кого, мама, она все-таки больше жалела? – не вытерпела Ася. – Потому что одна была болезненная... плохо ела, и котлет не ела, и бобов не ела, а от наваги ее даже тошнило...

– Да! А когда ей давали икру, она мазала ее под скатерть, а селедку жеваную выплевывала Августе Ивановне в руку... и вообще под ее стулом всегда была помойка, – я, с ненавистью.

– Но чтобы она нечаянно не умерла с голоду, мама становилась перед ней на колени и говорила: “Ну ррради Бога, еще один кусочек: открой, душенька, ротик, я тебе положу этот кусочек!” Значит, мама ее – больше любила!

– Может быть... – честно сказала мать, – то есть больше – жалела, хотя бы за то, что так плохо выкормила.

– Мама, не забудь про аппендицит! – взволнованно, Ася. – Потому что у младшей, когда ей стукнуло четыре года, – тогда она стукнулась об камень, и у нее сделался аппендицит – и она бы, наверное, умерла – но ночью приехал доктор Ярхо – из Москвы – и даже без шапки и без зонтика, – а шел даже град! – и он был совершенно мокрый. Это – правда – мама, *святой* человек?

– Святой, – убежденно сказала мать, – я святее не встречала. И притом – совершенно больной, и мог бы тогда простудиться, ведь *какая* гроза! И еще, бедный, тогда так упал перед самой дачей...

– Мама! А почему у него не сделалась слепая кишка? Потому что он доктор – да? А когда доктор заболит – кто его спасет?

Просто – Бог?

– Всегда – Бог. И тогда тебя – Бог. Через доктора Ярхо.

– Мама, – я, устав слушать про Асю, – а почему, если он святой, он всегда говорит вместо живот – *пузо*? “Что, Муся, опять пузо болит?” Ведь это неприлично?

– *Непривычно*, – сказала мать. – Может быть, его в детстве так научили?.. Конечно, странно. Но с таким сердцем и всё позволено. И не то позволено. И я всегда, пока сама жива буду, буду ставить за его здоровье свечу.

– Мама, а что же те девочки, так и остались незарезан-

ные? – после долгого общего молчания спросила Ася. – Или ему просто надоело, что она так долго думает, и он тбк – ушел?

– Не ушел, – сказала мать. – Не ушел, а сказал ей следующее:

“Зажжем в церкви две свечи, одна будет...”

– Муся! А другая – Ася!

– Нет, имен в этой сказке нет. “...левая будет старшая, а правая младшая. Которая скорее догорит, ту и...” Ну, вот. Взяли две свечи, совершенно одинаковых...

– Мама! Одинаковых не бывает. Одна была все-таки чуточку, кро-охотку...

– Нет, Ася, – уже строго сказала мать, – я тебе говорю, совершенно одинаковые. “Сама зажигай”, – сказал разбойник. Мать, перекрестясь, зажгла. И свечи стали гореть – ровно-ровно и даже как будто не уменьшаясь. Уж ночь наступила, а свечи все горят: одна другой не меньше, не больше, две свечи – как два близнеца. Бог их знает, сколько еще времени будут гореть. Тогда разбойник сказал: “Иди к себе, а я пойду к себе, а утром, как только солнце встанет, мы оба придем сюда. Кто первый придет – другого будет ждать”.

Вышли и заперли дверь на огромный замок, а ключ положили под камень.

– А разбойник, мама, конечно, раньше прибежал? – Ася.

– Погоди! Настало утро, взошло солнце. И вот, один другого не раньше, один другого не позже – с двух разных сто-

рон – разбойник слева, мать справа – потому что от церкви расходились две совершенно одинаковых дороги, как две руки, как два крыла – и вот по разным дорогам, с двух разных сторон, шаг в шаг, секунда в секунду к церкви – а против церкви – солнце вставало! – разбойник и мать. Открывают замок, входят в церковь, и —

– Одна свечка совсем сгорела: че-черная! А другая еще чуточку... – взволнованно, Ася.

– Две черные, – трезво я. – Потому что, конечно, за целую ночь обе-две сгорели, но так как никто не видел, – то все опять сначала.

– Нет. Обе свечи горели ровно, одна другой не меньше, одна другой не больше, нисколько не сгорев, ни на столечко не сгорев... Как вчера поставили – так и стояли. И мать стояла, и разбойник стоял, и сколько они так стояли – неизвестно, но когда она опомнилась – разбойника не было – как и куда ушел – неизвестно. Не дождалась его и в его разбойничьем замке. Только через несколько лет в народе пошел слух о каком-то святом отшельнике, живущем в пещере, и...

– Мама! Это был – разбойник! – закричала я. – Это всегда так бывает. Он, конечно, стал самым хорошим на земле, после Бога! Только – ужасно жаль.

– Что – жаль? – спросила мать.

– Разбойника! Потому что когда он так, как побитая собака, – поплелся – ни с чем! – она, конечно... **я бы**, конечно, его страшно полюбила: взяла бы его в дом, а потом бы

непрерывно на нем женилась.

– Вышла бы за него замуж, – поправила мать. – Женятся – мужчины.

– Потому что она его и *вперед* любила, только она уже была замужем, как Татьяна.

– Да, но ты совершенно забыла, что он убил ее мужа, – сказала мать взволнованно, – разве можно выходить замуж за убийцу отца своих детей...

– Нет – сказала я. – Ей бы по ночам было бы очень страшно, потому что тот бы стал являться к ней с отрубленной головой. И всякие звуки бы начались. И, может быть, дети бы заболели... Тогда, мама, я бы сама стала отшельником и поселилась в канаве...

– А дети? – спросила мать глубоко-глубоко. – Разве можно бросить детей?

– Ну, *тогда*, мама, я стала бы писать ему стихи в тетрадку!

1934